

15 апреля и в России, и за её пределами будут особенно много говорить о выдающемся русском поэте Николае Гумилёве. И не только потому, что 135 лет назад в этот день он родился и его строчки занимают видное место в антологии мировой поэзии, но и потому, что в любых обстоятельствах поэт оставался верным данному слову, которое всегда было для него свято.

Он был удивительно разносторонним человеком. В жизни – путешественник, исследователь-этнограф, охотник, военный. В творчестве – поэт, в каком бы жанре ни писал. Сейчас уже не так уж многим известно, что из-под его пера выходили не только стихотворения и поэмы, но и рассказы, пьесы, переводы западных авторов и древнего – шумерского – эпоса о царе Гильгамеше, критические статьи и литературные манифесты.

И что бы он ни делал, о чём бы ни писал, в его размышлениях постоянно встречаешь особое отношение к слову.

Поэтому вполне естественно, что одно из стихотворений, которое поэт считал для себя знаковым, он так и назвал – «Слово»:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине...

И дальше – горькое:

...Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог...

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.

Из трудов Павла Николаевича Лукницкого – первого и наиболее тщательного биографа поэта – мы узнаём о том, что уже с юных лет Гумилёв нередко размышляет о Художнике в широком смысле этого понятия, поскольку, по его мнению, в каждом человеке есть Художник, но лишь единицы реализуют себя в общем духовном пространстве.

Вот одна из таких записей в его дневнике: *«Человека, способного всюду подмечать то, что заслуживает любви, мы называем поэтом, художником. И разве не чувствует каждый человек, как он сам становится выше, воздавая должное уважение тому, что действительно выше его?»* И ещё: *«Разве божество не говорит так же и нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если мы только откроем свои глаза и свою душу? Наше почитание не имеет теперь такого характера, но не считается разве до сих пор особым даром, признаком того, что мы называем “поэтической натурой”, способность видеть в каждом предмете его божественную красоту, увидеть, насколько каждый предмет представляет око, через которое мы можем смотреть, заглянуть в самую бесконечность?»*

Позже, в стихотворении «Детство», он скажет об этом так:

Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнувшие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный
Мне кричал: «Я шучу с тобой,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой!..»

В стихах он размышляет и об искусстве как таковом. В частности, в одном из них, которое так и называется «Искусство», читаем:

Создание тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней –
Стих, мрамор или металл...
Скульптор, не мни покорной
И вялой глины ком,
Упорно
Мечтая о другом...
Рукою нежной брата
Очерченный уклон
Агата –
И выйдет Аполлон.
Художник! Акварели
Тебе не будет жаль!

В купели
Расплавь свою эмаль...
Всё прах. Одно, ликуя,
Искусство не умрёт.
Статуя
Переживёт народ.
И сами боги тленны,
Но стих не кончит петь,
Надменный,
Властительней, чем медь.
Чеканить, гнуть, бороться –
И зыбкий сон мечты
Вольётся
В бессмертные черты.

А немного позже появится его стихотворение «Творчество», где он расскажет уже о собственных ощущениях, какие могут возникать в этом состоянии:

Моим рождённые словом,
Гиганты пили вино
Всю ночь, и было багровым,
И было страшным оно.
О, если б кровь мою пили,
Я меньше бы изнемог,
И пальцы зари бродили
По мне, когда я прилёг.
Проснулся, когда был вечер.
Вставал туман от болот,

Тревожный и тёплый ветер
Дышал из южных ворот.
И стало мне вдруг так больно,
Так жалко стало мне дня,
Своею дорогой вольной
Прошедшего без меня.
Умчаться б вдогонку свету!
Но я не в силах порвать
Мою зловещую эту
Ночных видений тетрадь.

«Не в силах» он это сделать, потому что помним – поэт с юных лет чувствует «бездонность» искусства и, в частности, слова, с которым будет связана вся его короткая, но яркая жизнь.

* * *

Сегодня, когда мы говорим о Гумилёве, прежде всего имеем в виду его изумительные, сразу узнаваемые стихи и тот трагический исход, что случился с ним в уже очень далёком августе 1921 года.

О том, как вёл себя этот человек, которому предложили отречься от присяги и своих взглядов в обмен на жизнь, и что случилось в ночь на 27 августа 1921 года, когда его лишили жизни земной, написано и сказано много. И о его стихах, пьесах, переводах, статьях, любовных переживаниях и драмах, путешествиях, исследованиях, военном периоде – не меньше.

А вот о том, как много он размышлял о месте поэта в обществе и трудился над тем, «чтобы луна засияла», если и встретишь, то мельком. Между тем это важная составляющая его как Художника и как Личности, о чём и хотелось бы поговорить подробнее.

У Гумилёва есть статья «ЖИЗНЬ СТИХА», которая начинается так: *«Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и судит судья. Что же делает поэт?.. Почему только в минуты малодушия соглашается признать, что чувства добрые он лирой пробуждал? Разве нет места у поэта, всё равно, в обществе ли буржуазном, социал-демократическом или общине религиозной?.. Сейчас я буду говорить только о стихах, помня слова Оскара Уайльда: “Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка альта или лютни, не только – краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на полотнах Венецианцев и Испанцев; не только пластичные формы, не менее ясные и чёткие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, – у них есть и мысль, и страсть, и одухотворённость. Всё это есть у одних слов...”»*

Дальше следует ремарка Гумилёва: *«...что стих есть высшая форма речи, знает всякий, кто, оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы сдержать рождающийся ритм».*

На его «оттачивании прозы» следует остановиться подробнее. В первую из своих поездок в Париж, когда поэт поступает в Сорбонну, он организует издание русского художественного журнала «Сириус». И в начальном выпуске журнала почти все стихи и проза – это Гумилёв под разными псевдонимами. Некоторые из них он держит в секрете даже от сотрудников журнала. Именно там впервые – и первые критические опыты поэта, и первая его проза, о которой он своему многолетнему учителю той поры В. Я. Брюсову пишет так: *«...У меня отсутствует чисто техническое умение писать прозаические вещи. Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них. Всё идёт стройно и красиво, но, когда подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получают только бессвязные отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки, стараясь вывести у мастеров стиля, как можно победить роковую инертность пера... Вообще, мне кажется, что я накануне просветления, что вот-вот рухнет стена, и я пойму, а не научусь, как надо писать...»*

Вот это «**пойму, а не научусь**» – желание «дойти до самой сути» и сделало его в литературе тем, кем он стал. Он «понял» и стал писать прозу так, как не многие из тех, кто считал себя прозаиками. Его новеллы, рассказы, путевые заметки и военные корреспонденции, по словам А. И. Куприна, «дышат жизнью». А получить такой комментарий от такого прозаика – дорогого стоит.

И в качестве одного из примеров этого «дыхания жизни» рассмотрим небольшой отрывок из военного дневника поэта, который он называл «ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТА». Начало войны 1914 года. Он добровольцем идёт в армию и получает направление к границе Восточной Пруссии, где на передовой напишет:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня...

И там же – на границе – делает такую запись: *«Я часто думал... о глубокой разнице между завоевательными и оборонительными периодами войны. Конечно, и тот, и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроения отдель-*

го война действуют не только общие соображения, – каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперёд, и так близки показались мне мечты Ермака и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Но эта ли дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?..»

Не правда ли, полная картина и места, и времени, и деталей быта, и психологического состояния бойца. И всё это в коротком отрывке, без лишних слов, но так, что видишь и чувствуешь происходящее в малейших подробностях.

А вот совсем о другом – о скрипке Страдивариуса: *«Мэтр Паоло Белличини писал своё соло для скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога нервно отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы от проказы, рассеянно гнули гибкое дерево смычка. Многочисленные ученики мэтра боялись этих старинных рук с пальцами, похожими на белых индийских змей... Начало его соло было прекрасно. Могучий подъём сразу схватывал лёгкую стаю звуков, и, перегоняя, перебивая друг друга, они стремительно мчались на какую-то неведомую вершину, чтобы распуститься там мировым цветком – величавой музыкальной фразой. Но этот последний решительный взлёт никак не давался старому мэтру, хотя его чувства были напряжены и пронзительны чрезвычайно... Ис безумной надеждой отчаяния старый мэтр схватился за скрипку, чтобы она закрепила ускользающее, овладела для него недоступным. Напрасно! Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась и пела, скользила по мыслям, но доходя до рокового предела, останавливалась, как кровный арабский конь, сдержанный лёгким движением удил. И казалось, что она ласкается к своему другу, моля простить её непослушание...»*

Такая проза похожа на чудо, заложенное в известных каждому словах: если их правильно подобрать и правильно расставить, – как всё одушевлено – и пальцы, и смычок, и скрипка, и её звучание, и «непослушание». И сколько в этой прозе поэзии.

А ещё, читаешь, и невольно приходят на память его знаменитые строчки из «Волшебной скрипки», потому что там – о том же:

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое тёмный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей...

Когда сопоставляешь это изумительное стихотворение с тем, что и как написано в «СКРИПКЕ СТРАДИВАРИУСА», то не можешь понять причины сетований Гумилёва Учителю на своё неумение писать прозу. Видно, что «выведал» он в библиотеках «у мастеров стиля, как преодолеть инертность пера». Хотя, всё равно такое не «выведаешь» без склонности к слову.

И так во всём, что есть в его прозе – о радостях земной любви, принцессе Заре, Африканской охоте... Читаешь, и трудно оторваться, потому что поэзии там не меньше, чем в стихах и поэмах.

* * *

Но вернёмся к его размышлениям о жизни стиха: *«...Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в неизбывно яркий миг, иногда смутно, как зачатие во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям ещё неокрепшей новой жизни. Всё определяет её будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью. Наконец, в муках, схожих с муками*

деторождения, появляется стихотворение. Благо ему, если... кроткий, как голубь, он стремился передать уже выношенное, готовое, и, мудрый, как змей, старался заключить всё это в наиболее совершенную форму.

Такое стихотворение может жить века, переходя от временного забвения к новой славе...»

Эта же мысль, может быть, ещё более ярко звучит в его стихотворении «Правый путь»:

В муках и пытках рождается слово,
Робкое, тихо проходит по жизни.
Странник оно, из ковша золотого
Пьющий остатки на варварской тризне.

Смерть? Но сперва эту сказку поэта
Взвесь осторожно и мудро исчисли –
Жалко не будет ни жизни, ни света,
Но пожалеешь о царственной мысли.

Выйдешь к природе! Природа враждебна,
Всё в ней пугает, всего в ней помногу,
Вечно звучит в ней фанфара молебна
Не своему и ненужному богу.

Что ж, это путь величавый и строгий:
Плакать с осенним пронзительным ветром,
С нищими нищим таиться в берлоге,
Хмурые думы оковывать метром.

Это трепетное отношение к «царственным мыслям» (и «царственным звукам») у него изначально: вернёмся к стихотворению «Волшебная скрипка», написанному задолго до этого, и продолжим его читать:

...Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток...

И хотя здесь речь идёт о музыке, но размышления значительно шире – о Художнике вообще. О том, что с ним происходит, когда он «получает толчок из внешнего мира, который определяет его будущую судьбу».

А дальше – разговор о стиле: «...В стиле... поэт даёт самого себя, но тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о цвете своих глаз, о форме своих рук... Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изречённая становится уже не ложью, а правдой...»

Тут невольно вспоминаешь слова другого знаменитого поэта – Бориса Пастернака:

...Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышит почва и судьба...

Именно о дыхании «почвы и судьбы» сказал и Гумилёв, рассуждая об истоках, когда случается нечто вроде чуда, и «мысль изречённая становится уже не ложью, а правдой, а читающий стихотворение испытывает то же, что сам поэт».

И продолжает эту мысль так: «...чтобы быть достойным своего имени, стихотворение... должно быть безукоризненно даже до неправильности. Потому что индивидуальность стихотворению придадут только сознательные отступления от общепринятого правила, причём, они любят рядиться в бессознательные... Эти неправильности играют роль родинки, по ним легче восстановить в памяти облик целого...»

Правда, в его чеканном и изысканном стиле таких «родинки» почти не встретишь. Но если поискать, то, может быть, пожалуй, здесь:

Какая смертная тоска
Нам приходиться и ждать напрасно.
А, если я попал в Чека?
Вы знаете, что я не красный!

Нам приходиться и ждать напрасно,
Пожалуй, силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый – я поэт!

Пожалуй, силы больше нет
Читать стихи, писать доклады.
Но и не белый я поэт.
Мы все политике не рады.
Писать стихи, читать доклады,
Рассматривать частицу «как»...
Путь к славе медленный, но верный:

Моя трибуна – Зодиак!
Высоко над земною скверной
Путь к славе медленный, но верный.
Но жизнь людская так легка!
Высоко над земною скверной...
Такая смертная тоска!

Но эти «родинки», пожалуй, исключение, не характерное для его стихов. Видно, он чувствует, что они ему не нужны. Ведь и в этом стихотворении в первую очередь обращаешь внимание на «я поэт... писать стихи, читать доклады, рассматривать частицу “как”... моя трибуна – Зодиак», то есть на литературную работу и размышления над словом. А уже потом – на не характерные для него «неправильности» в построении стиха.

* * *

А теперь – немножко подробней о сути его знаменитой строчки: «слово – это Бог». В своей статье «ЧИТАТЕЛЬ» поэт подробно пишет, как пришёл к такому заключению, а также о взаимоотношениях поэзии и религии: *«Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для её целей... необходимы совместные усилия... Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, – он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, понявший “трав неясный запах”, хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем “была звёздная книга ясна” и “с ним говорила морская волна”. Поэтому поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного...»*

И в стихотворении «Память» он скажет о себе сначала в третьем лице:

...Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом...

А потом и в первом:

...Я – Угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле...

О рождении поэтического слова у него самого – напишет в стихотворении «Правый путь»:

В муках и пытках рождается слово,
Робкое, тихо проходит по жизни.
Странник оно, из ковша золотого
Пьющий остатки на варварской тризне...

Смерть? Но сперва эту сказку поэта
Взвесь осторожно и мудро исчисли, –
Жалко не будет ни жизни, ни света,
Но пожалеешь о царственной мысли...

А в статье об этой «царственной мысли» – о самостоятельной жизни слова, рождённого поэтом, которое он отпускает в пространство, пока (или ещё) не зная судьбы этого слова, он рассуждает так: *«Выражая себя в слове, поэт всегда обращается к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель – он сам, и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда это некий мистический собеседник, ещё не явившийся друг, или возлюбленная им, иногда это Бог, Природа, Народ... Однако ни для кого, а для поэта тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит себе живого, реального читателя среди современников, порой потомков. Этот читатель отнюдь не достоин того презрения, которым так часто обливали его поэты. Это благодаря ему печатаются книги, создаются репутации, это он дал нам возможность читать Гомера, Данте и*

Шекспира. Кроме того, никакой поэт и не должен забывать, что он сам, по отношению к другим поэтам, тоже только читатель...»

Тут ещё можно заметить, что в какой-то момент он существенно расширит диапазон своих «*мистических собеседников*». Это случится, когда они вместе с поэтом Сергеем Городецким обоснуют и создадут целое направление в поэзии, которое назовут акмеизмом. Его суть или суть его философии в том, что любое существо и явление, созданное природой для земной жизни, – божественно. Именно от этого в какой-то период времени поэт даже сменит аудиторию своих воображаемых слушателей, о чём в стихотворении «Я и вы» скажет:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришёл из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Тёмным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам...

Правда, следует заметить – в силу своего дарования он выходил далеко за пределы им же созданного направления, что присуще любому крупному поэту, которому тесны любые рамки.

И главенствовало в нём не направление или философия, а неземной силы земная любовь, о которой в цикле «Посредине странствия земного» он скажет:

Из букета целого сирени
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал о Елене,
А потом томился целый день.

И за огненными небесами
Обо мне задумалась она,
Девушка с газельными глазами
Моего любимейшего сна.

Всё казалось мне, что в белой пене
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени
За кормой большого корабля.

Сердце прыгало, как детский мячик,
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого что мне не нельзя иначе,
Оттого что я её люблю.

И в этом же цикле:

Мой альбом, где страсть сквозит без меры
В каждой мной отточенной строфе,
Дивным покровительством Венеры
Спасся он от аутодафе...

Действительно, трудно представить, как могла бы Венера не покровительствовать «отточенной строфе» такого «летающего и земного» и такого верного своего подданного.

Несмотря на любовные драмы, о которых немало написано, женщинами он увлекался и был любим настолько, что, казалось бы, шутивное стихотворение, которое сейчас приведу, звучит из его уст с большой долей истины:

Он поклялся в строгом храме
Перед статуей Мадонны,
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны.
И забыл о тайном браке,
Всюду ласки расточая.
Ночью был зарезан в драке
И пришёл к преддверьям рая.
«Ты ль в моём не клялся храме, –
Прозвучала речь Мадонны, –

Что ты будешь верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны?
Отойди, не эти жатвы
Собирает царь небесный,
Кто нарушил слово клятвы,
Гибнет, Богу неизвестный».
Но печальный и упрямый,
Он припал к ногам Мадонны:
«Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны».

Продолжая разговор о природе стиха, он выразит такую мысль: *«Стихотворение... возникая из духа поэта, становится особым организмом... сочетания слов, дополняя одно другое, ведёт к определённому впечатлению и... наше внимание привлекает звуковая сторона стиха (ритм, рифма, сочетание гласных и согласных) ...»* И в стихотворении «Credo» у поэта об этом же:

Откуда я пришёл, не знаю...
 Не знаю я, куда уйду,
 Когда победно отблстаю
 В моём сверкающем саду...
 Мне всё открыто в этом мире –
 И ночи тень, и солнца свет,
 И в торжествующем эфире
 Мерцанье ласковых планет.
 Я не ищу больного знания
 Зачем, откуда я иду;

Я знаю, было там сверканье
 Звезды, лобзающей звезду...
 И жарким сердцем, веря чуду,
 Поняв воздушный небосклон,
 В каких пределах я не буду,
 На всё наброшу я свой сон.
 Всегда живой, всегда могучий,
 Влюблённый в чары красоты.
 И вспыхнет радуга созвучий
 Над царством вечной пустоты.

* * *

Как вспыхнула его *«радуга созвучий»*, теперь знают все.

Немного позже в стихотворении «Солнце духа» он скажет о том, как душа *«получает толчок из внешнего мира»*:

...Расцветает дух, как роза мая,
 Как огонь, он разрывает тьму.
 Тело, ничего не понимая,
 Слепо повинуется ему.
 В дикой прелести степных раздолий,
 В тихом таинстве лесной глуши

Ничего нет трудного для воли
 И мучительного для души.
 Чувствую, что скоро осень будет,
 Солнечные кончатся труды
 И от древа духа снимут люди
 Золотые зрелые плоды.

И дальше вновь вернёмся к статье «ЖИЗНЬ СТИХА»: *«...прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают. Для многих отношений они являются судьбами...»*

Здесь он размышляет не о своих стихотворениях, а приводит примеры из стихов Брюсова, Вячеслава Иванова, Анненского, Блока. О своих же потом в стихотворении «Мои читатели» напишет так:

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
 Покоривший многие племена,
 Прислал ко мне чёрного копьеносца
 С приветом, составленным из моих стихов.
 Лейтенант, водивший канонерки
 Под огнём неприятельских батарей,
 Целую ночь над южным морем
 Читал мне на память мои стихи.
 Человек, среди толпы народа
 Застреливший императорского посла,
 Подошёл пожать мне руку,
 Поблагодарить за мои стихи.
 Много их, сильных, злых и весёлых,
 Убивавших слонов и людей,
 Умиравших от жажды в пустыне,
 Замерзавших на кромке вечного льда,
 Верных нашей планете,
 Сильной, весёлой и злой,
 Возят мои книги в седенной сумке,
 Читают их в пальмовой роще,
 Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастением,
 Не унижаю душевной теплотой,
 Не надоедаю многочисленными намёками
 На содержимое выеденного яйца,
 Но когда вокруг свищут пули,
 Когда волны ломают борта,
 Я учу их, как не бояться,
 Не бояться и делать, что надо.
 И когда женщина с прекрасным лицом,
 Единственно дорогим во вселенной,
 Скажет: «Я не люблю вас», –
 Я учу их, как улыбнуться,
 И уйти, и не возвращаться больше.
 А когда придёт их последний час,
 Ровный, красный туман застелет взоры,
 Я научу их сразу припомнить
 Всю жестокою, милую жизнь,
 Всю родную, странную землю
 И, представ перед ликом Бога
 С простыми и мудрыми словами,
 Ждать спокойно Его суда.

Кто помнит биографию Гумилёва или вновь её посмотрит, вспомнит, что последний месяц лета 1921 года станет последним в его жизни. Третьего августа 1921 года поэта по ложному обвинению арестуют, а в ночь с 26 на 27 – расстреляют. Но даже в тот – трагический для него месяц он вёл себя так, что и сегодня мы говорим о нём с восхищением, хотя боль утраты от этого не ослабевает.

Согласимся, что ни в едином слове о себе он не лукавит. Больше того, будто видел, как уйдёт в вечность, или предсказал судьбу в последних строчках этого стихотворения. Ведь так у него и случилось: взял 3 августа в тюрьму на Шпалерной Евангелие и Гомера, оттуда писал жене ободряющие слова и *«ждал спокойно Его суда»*.

И об этом незадолго до той трагической ночи с 26 на 27 августа он написал в своём последнем, малоизвестном стихотворении, которое впервые опубликовано установившим его авторство издателем и славистом Никитой Алексеевичем Струве в 1970 году:

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград,
И горит над рдяным диском
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным,
Знаю – сгустком крови чёрной
За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой,
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезёт меня домой.
Он и на сей раз оказался прав.

И хотя *«строгий город»* не отвёз его домой в буквальном смысле, но *«за свободу... за стихи и за отвагу, за сонеты и за шпагу»* он остался в памяти людей как благородный рыцарь и великий поэт, однажды сказавший, что *«слово – это Бог»*, и ни разу этому не изменивший.

Поэтому после того, как его не стало, совершенно иначе, чем при жизни поэта, зазвучали оказавшиеся пророческими слова уже давно знаменитой *«Волшебной скрипки»*:

...Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Зазвучали иначе потому, что так с ним и случилось: он погиб... *славной смертью, страшной смертью скрипача!*

Но от слова своего не отрёкся.

